

(Или «некритические этюды по национальному вопросу»)

«Кто ты есть, и откуда ты родом?»

Родился я в Таджикистане, когда в Советском Союзе правил Сталин. Через пять лет мы с мамой перебрались из горной страны в низкорослое, строящееся Подмосковье. И я, ничего не зная о национальной политике и о том, как претворялся ленинский ее план в жизнь, бегал с новыми друзьями по стройкам и оврагам, полям и лесам и расхваливал на все лады страшные вершины Памира и очень смелых людей таджиков. Мне завидовали. Пять южных лет смуглым колером подрумянили мою кожу, зачернили волосы, брови, глаза, подрезвили нервные центры, сделав меня резким и чувствительным, как и положено, считали дети подмосковного поселка, настоящему горцу.

А уж как возгордился я после разговора с приятелем Вовкой, который был на два года старше меня и уже кое-что смыслил в теории наследственности! Дело было в начале июня. Бледный Вовка позавидовал моей смуглой коже:

— Ну и загорел ты там! Два года загар не сходит.

— Посмотрел бы, какие у меня братья черные!

— Какие братья? Вы же вдвоем живете с матерью.

— Родные, какие же еще. Они там остались.

— Как же вы их бросили одних?

— Мы их не одних бросили. У них папка, мамка есть — моей мамки сестра.

— А! Значит они тебе двоюродные.

— Сам ты двоюродный. Мы, знаешь, как похожи. И мамки наши — родные сестры.

— Значит, вы двоюродные, — Вовка был упрямый человек, но я не сдавался:

— Нет — родные. У нас фотко есть, мы там арбузы лопаем. Во как похожи. Значит, родные.

— Люди бывают похожи, потому что родились в одном месте, понял?

Это мне было понятно и приятно. Хорошая земля, Таджикистан, если на ней родятся похожие люди, подумал я и сказал:

— А мы все равно родные.

Я долго еще считал, что сыновья маминой сестры — мои родные братья, а письма от них, которые мама читала вслух и которые всегда начинались фразой: «Здравствуйте, дорогие родные!», лишь укрепляли мою веру.

Жилпоселовский народ

Быстро бежало время, и росли на поселке двухэтажки, в которые приезжали со всей страны мальчишки. Первым делом они расхваливали свои самые лучшие в мире Сибири и Украины, Кавказы и Белоруссии, Орлы и Курски и даже близлежащие деревни. От такого изобилия самых лучших мест мы вскоре устали потому, что любой новосел сразу же оказывался в центре внимания, а мы, старожилы, как бы уходили на второй план. Это не очень-то радовало, и мы стали прерывать любую попытку новичков открыть рот и рассказывали какую-нибудь смешную историю из жизни поселка, а их было предостаточно.

Новичок слушал нас и в зависимости от характера (а также от местности, где родился) смеялся, улыбался или хмурил брови, не всегда понимая и разделяя наше веселье. Но проходил месяц-другой, и он уже сам вел себя по отношению к новоселам так же, как и мы.

Мне приятно было, что я — один из самых первых старожилов поселка, но, к сожалению, в наших разговорах все реже упоминалось мое горное происхождение и моя южная кровь.

Рыжий знаток

В школе вообще никто не интересовался, кто, где родился и откуда приехал, и я стал забывать далекие горы и смелых людей таджиков. А однажды со мной произошел случай, после которого мне самому расхотелось вспоминать и расхваливать горную страну.

Как-то бежал я на урок немецкого языка, и вдруг меня окликнули:

— Эй, малец, поди-ка!

Я обернулся, на скамейке возле бачка с питьевой водой сидели две нянечки, между ними — толстый рыжий семиклассник с вредными глазами «второгодника».

— Тебе говорят! — звал он меня пальцем.

Я подошел, спросил:

— Чего?

— Чего-чего! Ты вот что скажи, — пробасил он, выпячивая грудь и по-генеральски укладывая руки на колени. — Сколько тебе лет?

— Двенадцать, — зачем-то прибавил я восемь месяцев.

— Вот оно как, — важно протянул семиклассник и повел туда-сюда головой, как бы спрашивая нянечек, можно ли продолжать.

Нянечки заинтересованно разглядывали меня, хотя я им еще ничего плохого не сделал — учебный год только начинался.

— Понятно, — изрек семиклассник. — Тогда скажи, как твоя фамилия?

— Торопцев, — сознался я, потому что, повторюсь, грешков за собой не помнил.

Мое чистосердечное признание шокировало рыжего толстяка. Он грозно насупил брови, сжал в жесткую трубочку губы, с силой надавил кулаками на колени и просидел в такой напряженной позе несколько тревожных минут, а я, судорожно перебирая в памяти события последних дней, пытался вспомнить что-то такое, из-за чего им понадобилась моя фамилия. Эта томительная неизвестность опечалила меня, напугала.

— Так я и знал! — вдруг ожил рыжий мыслитель. — Не русский!

Нянечки почему-то облегченно вздохнули, опустили глаза, лениво поигрывая пальцы с пальцами, мне тоже полегчало, я даже хотел рассказать им о Таджикистане, позабыв про немецкий язык, но семиклассник, махнув брезгливо рукой, перебил меня:

— Говорил же вам — не русский!!

Эта презрительная фраза больно ударилась в груди. Забылись тут же горные рассказы, я неловко развернулся и медленно пошел на второй этаж.

И чем выше поднимался я по несложному траверсу школьной лестницы, тем ниже опускалась голова моя, темноволосая, грустноглазая, тем стыдливее становилось на душе. У двери пятого «Б», где строгая «немка» громко чеканила шпильками шаги и старательно выговаривала чужие резкие слова типа «геен», «битте», «зи», мне стало

совсем не по себе. Позабыв постучаться, извиниться, вошел я, такой весь нерусский, в класс, остановился, понурил взгляд. Видно, в те минуты я действительно не был похож на обыкновенного русского ученика, потому что обычно злая учительница даже не отругала меня, а лишь тихо оказала:

— Проходи, садись.

Отречение от корня

Мне не хотелось встречаться с рыжим знатоком русских фамилий, но еще до того, как он, закончив восьмой класс, покинул школу, я заболел одной странной «грузинской» болезнью. Случилось это, когда на весь Союз гремели имена Шавлакадзе, Котрикадзе, Чохели, Метревели и т.д. Мне нравились эти звучные фамилии, и болезнь налетела внезапно — в один холодный зимний вечер, когда в ожидании мамы я лежал на кровати и сопоставлял свою невзрачную, вдобавок еще и нерусскую фамилию со знаменитыми грузинскими. Сравнения были неутешительными, но вдруг я нашел замечательный выход из этого невзрачного фамильного положения — я решил взять себе псевдоним. Естественно, когда стану взрослым. Например, Торашвили, Тородзе, Торопава, Торорели. Неплохие фамилии, хотя корень-то у них был мой, и он совсем не украшал гордо звучные окончания. Нужно было думать дальше. И я придумал. Я решил вообще отказаться от своего корня и взять фамилию, составленную из грузинских окончаний. Например: Дзешвили, Авадзе, Дзедия, Дияшвили, Швилидзе, Аварели... Какой выбор, какие слова!

Выход был найден. Осталось выбрать лучшую из фамилий, натренировать к восемнадцати годам подпись, чтобы потом не мучиться, и... гуляй Саша с нормальной фамилией! Разве плохо звучит: Александр Дзедия! Красиво, сочно, мужественно. И, главное, никто путать не будет. Как только меня не обзывали! Топорцов, Тварцов, Коробцев, Говорцов, Таранцев... Может быть, думал я, от меня и отказывались русские из-за невзрачно-неудачной фамилии.

Так или иначе, а выход я нашел, но фамилию сменить мне не удалось, потому что через несколько дней болезнь эта исчезла бесследно — уж и не вспомню, по какой причине.

Он – негр!

В ту же холодную зиму мне довелось увидеть себя самого в образе негра. Мама повезла меня и соседа Сашку-первоклашку в Лужники на елку. Хорошая была елка, веселая, но когда мы возвращались домой, нам повстречался негр. Высокий, черный-пречерный, с розовыми губами шел он в коричневых макасах по плотному снегу тротуара и гордо смотрел в голубое небо с желтым солнцем. Сашка вытянул руку и крикнул:

— Смотри, какой черный!

Взрослые и дети, которые шли рядом, «не заметили» Сашкиной руки, но негр заметил. И на маленькую секундочку расслабился, опустил голову, напомнив мне случай с рыжим толстяком. Он расслабился всего на мгновение и тут же поднял глаза, гордо осмотрел спешащих в метро людей. «Я негр! — было написано в его глазах. — Ура, я — негр!»

Удар допризывника

Совсем другую мысль прочитал я на лице моего приятеля Михаила через несколько лет.

Мне уже было семнадцать, ему — девятнадцать. Он ждал повестку из военкомата.

Жил он у родственников. Приехали они из Западной Украины. Были люди прямые, в спорах — жесткие, в быту — простые, добрые. Дома не сидели. Она, чернобровая, статная, с пунцовыми щеками, играла вечерами в лото. Он, той же масти, но худой, жилистый, высокий, просиживал после работы за доминошным столом. Оба голосистые, певучие, с широкой душой, которую, однако, напоказ не выставляли. Михаил, младший брат его, был такой же.

Однажды он играл в домино под моим окном, а я готовился к экзаменам. Дело шло к вечеру. Голова устала от формул, я вышел на улицу. И вдруг вижу, Михаил зверьком вскочил с места, кинулся на подпитого мужичка:

— Ах, сволочь! — кликнул мой друг, и, прежде чем его схватили за руку, послал боковым справа обидчика на траву.

— Мишка, ты что?! — закричали все.

— Пусть не болтает! Какой я бендеровец. Мне год всего было. Отпустите, все равно намыли ему рожу!

Я, твердый «хорошист» по истории и географии, знал, что на западе нашей родины есть город Бендеры, но... почему Михаилу так не хотелось быть бендеровцем, мне в те годы было не понятно.

Блатной квадрат

Ушел я к формулам и, возбужденный доминошной дракой, врубил маг, услышал модный «блатняк»: «Вот трамвай на рельсы стал, под него еврей попал...»

На поселке жил Валерка, полукровка: мать татарка, отец еврей. Это — по паспорту, а по жизни никто не считал его ни евреем, ни татаринном. Он был жилпоселовский пацан, и слушать всякую чушь о людях, у которых в какой-то графе написано еврей, русский или что-нибудь подобное, мне не хотелось. Я был уверен, что у любого человека есть свой поселок, свои друзья, которым такие куплеты неприятны.

А друзей у меня много. В трудную минуту они (мы, кстати, никогда друг у друга метрики не спрашивали) протянули мне руки, помогли. Сейчас наши пути-дорожки разбежались, как ветки большого дерева с корнями в жилпоселовской земле, мы редко встречаемся, не всегда довольны друг другом, но все хорошее, что было у нас, я помню.

Год ГУМа

После школы, совершенно для себя неожиданно, оказался я в гумовском подвале, где познакомился с Аркашкой. Это была личность. КМС по боксу в семнадцать лет, аттестат с серебряной медалью, прыга, каких ГУМ не видел, уверенный в себе до жути, хваткий, вечно улыбающийся, он влился в шумный водоворот огромного магазина и быстро освоил его науку: надо делать деньги, потому что жизнь — это деньги. В этой на первый взгляд, примитивной диалектике он с присущей импровизацией находил такие ходы, о которых многие старые работники просто не подозревали.

В рамках данных «этюдов» нет возможности рассказать о «научных» открытиях юного дитя самого большого в стране магазина, это отвлечет от главной темы — от

национального вопроса, к которому Аркашка относился с решительной безапелляционностью:

— Евреи — великая нация! — говорил он, когда мы возили продукцию в секции. — Сильная, умная, решительная, с древней историей. Только сильный народ сможет вести такую войну: три миллиона евреев против ста миллионов арабов. У евреев многим учиться надо, понятно?!

Я пожимал плечами, потому что ответа не было в школьных программах, и не понимал Аркашку, который восхищался успехами Израиля, но ругал тех, кто ринулся в Штаты или на землю обетованную.

Не понимал я и работников склада. Они любили поболтать на тему блатной песни, когда Аркашки не было на складе. При нем они молчали, знали, что он на язык остер. Когда же он заболел и попал в больницу, дали они себе волю! Я такого ни в одной песни не слышал. «Специально лег, к экзаменам готовится. Белый билет получит. Все они прохиндеи, работать не хотят». И так далее.

У меня с Аркашкой были отличные отношения, хотя я и не разделял его гумовских страстей, которыми, между прочим, страдали представители всех наций, обитавших в магазине.

Аркашка не делал из себя святого, не прятался за всевозможные охи — может быть, поэтому его и не любили. Может быть, поэтому даже после операции люди на складе талдычили: «Специально разрезал себе живот, чтобы в армию не идти. Подумаешь, шов. Вторую группу получит и будет шнырять по линиям за дефицитом!» Больше всего поражало меня то, что люди-то эти были добрые. Они любили своих детей, отдавали им все, что заработали и «наварили» в ГУМе.

Аркашка же не унывал. Выйдя из больницы со второй группой, он иногда врвался в покои гумовского подвала и будоражил всех безудержным оптимизмом. Он был кристально ясен! Даже в своих грешках. Даже в мелком жульничестве в «подкидного дурачка», которым мы забавляли подвальную скуку. И я чувствовал, что он не самое большое зло большого магазина.

Через полгода Аркашка умер. Рак. Но никто (смотреть на это было страшно!!!), никто, повторяю, не признал свою ошибку. Было такое впечатление, что... простите за кощунство, они и смерти его не доверяют, считая ее проделкой удалого бывшего боксера.

Я в то время уже учился, изредка навещая коллег по гумпогрузу, когда кончались тетради, прочая канцелярия.

Неудачное «возвращение»

15 апреля 1969 года самолет приземлился в Душанбе, и я вступил на землю, родившую меня и моих «родных» братьев.

Получилось все очень просто. Не справился с учебой, решил послужить, написал рапорт, получил повестку. И ощутил странное желание увидеть Таджикистан. На самолет денег хватило. Полетел. Прилетел.

А нужно было еще добраться до Курган-Тюбе, где жили мои родственники. Об этом я в Москве не подумал. Оставалось одно — продать нейлоновую рубашку, модный свитер, тренировочный костюм, почти новые, модные вещи, но люди шарахались от меня, как от чумы, и тогда я спросил у водителя автобуса:

— Как пройти в Курган-Тюбе?

— По этой дороге пойдешь, за чайханой развилка будет. Тебе вправо. Не спеша

пойдешь, к обеду придешь, — ответил он.

К обеду я дошел до развилки, присел на чемодан, загрустил. Дерзкий план дойти до Курган-Тюбе и доказать себе, что не зря я родился на Памире, провалился под напором голода.

— Салам-aleyкум! — ко мне подошел таджик в пестром халате и в сандалетах на босу ногу.

— Малейкум-ас-салом! — я поднялся.

— Почему сидишь? Почему грустишь?

Я устало рассказал о своих бедах.

— Москва хорошо! — таджик пригласил меня в чайхану. — Что кушать хочешь?

Я бы съел там все, но поскромничал:

— Чай у вас замечательный.

— Был Москва! — через минуту передо мной стояли три блюда. — Кушай, пожалуйста.

Повар явно переперчил пищу, она обжигала рот, но съел я все быстро.

— Сейчас автобус придет, — сказал мой спаситель, и мы пошли с ним на автобусную остановку.

Через пару минут подрулил ЛАЗ, и таджик, показав рукой: «Стой здесь!» о чем-то поговорил с водителем. Затем сказал мне:

— Садись. Он довезет.

— Спасибо! — крикнул я и очутился в салоне.

И так мне стало хорошо, хоть песни пой. Я еду!

— Сел, москвич? — вдруг пробасил по связи водитель. — Можешь ехать. Я Москва был. Какой народ! Спросил, как ГУМ пройти — в другую сторону послал. А мы можем и бесплатно.

Я вспотел, будто на мне были все мои модные вещи, и уставился в окно, за которым трепетало маковым цветом большое поле. Было обидно: за москвичей и за себя, потому что водитель не увидел во мне... земляка.

Видно, московское солнце затушевало все горное в моем облике, подумал я и посмотрел на бледное свое отражение в автобусном стекле.

Сапожник Сулико

Звали его Сулико. Он был в части сапожником. Я часто забегал к нему в небольшую комнату при солдатской бане, смотрел, как ловко орудует он молотком, ножом, резиной, клеем, и болтал о том, о сем. Это был краснощекий, добродушный увалень, очень похожий на актера, сыгравшего главную роль в фильме «Отец солдата». На нем плохо сидела форма. Его ругали за строевую подготовку, спортивные показатели. Он слабо разбирался в международной политике. Но, удивительно, все его уважали, хотя и понимали, что без Сулико наша в/ч не развалится. Человеком он был безотказным. Надо — сделаю. Если срочно надо — садись, сделаю при тебе. Он не признавал ни «стариков», ни «салаг», ни земляков, ни сержантов, делал работу одинаково качественно и быстро для всех, имея при этом привычку покалякать с заказчиком о будущем.

Всем оно виделось по-разному. Я мечтал учиться, и меня удивлял Сулико, повторявший:

— Чтобы учиться, деньги нужны, понимаешь?

Однажды я не сдержался, вспомнив науку ГУМа:

— Сулико, что ты прибедняешься? У грузин-то и денег нет?!

Но рядовой Осепайшвили мягко перебил меня, сержанта, у которого по политподготовке были «круглые пятерки»:

— Понимаешь, грузины бывают разные, как и русские, как и армяне, к примеру, я говорю. У рабочего человека, скажи, откуда деньги? У меня отец — рабочий. У нас две сестренки, мама, бабушка. Как учиться, скажи?

Я промолчал. Мне было стыдно за себя, дурака.

На развалинах Корк-Махкалы

После дембеля я попал в составе ССО в Дагестан, где убедился в мудрости Сулико. Но не только этим запомнились пятьдесят пять знойных дней, в течение которых я кидал в бункер бетономешалки песок, цемент, гравий, обеспечивая отряд раствором и бетоном.

Однажды стройный даг, Салават, водитель прикрепленного к нам самосвала, попросил помочь загрузить камень для фундамента. (Село, в центре которого стоял РБУ, строилось вместо разрушенного год назад мощным землетрясением большого селения Контр-Махкала). Я согласился. Салават обещал за работу десять рублей — деньги немалые.

Приехали мы в разрушенное село на ходком ЗИЛке, когда с близлежащих гор, быстро темнея, поползли в сторону моря мрачные тени, которые, заглатывая все на своем пути, залили и без того угнетающие развалины бездушно серым цветом.

По кинолентам военных лет легко представить себе населенный пункт после массивной неспешной бомбардировки, но то, что я увидел в родном селе Салавата, превзошло все ожидания. Большое ровное поле было усеяно одинаковыми по высоте печными трубами, вокруг них лежали груды саманного кирпича, словно бы спекшиеся от жара. В них копошились неловкие фигурки в надежде найти что-то важное из той, разрушенной жизни. Кое-где стояли никому ненужные теперь секции загородок.

Машина остановилась в центре бывшего селения. Отсюда хорошо было видно все содеянное природой, и лишь урчание мотора да дрожь ЗИЛка отвлекали от жутких мыслей. Но когда Салават выключил зажигание, и мы вышли из машины, я вдруг оказался в страшном царстве тишины, бурых теней, огибающих печи, и крошечных на фоне гор человечков с палочками и лопатками, которыми они ковырялись в земле...

— Нет, никто не погиб, — почему-то сказал Салават. — Воры, сволочи, правда, были.

Он сказал «воры, сволочи» и ничего больше. Никакого национального различия...

— Давай дело делать, стемнеет скоро.

— Давай! —мы набросились на камни, которые он заранее извлек из фундамента погибшего дома и собрал в кучу.

Ух, как легко работалось в тот вечер! Как быстро летели в машину тяжелые камни! Чбах-чбах, чбах-чбах — громко падали они на железо кузова. Быстрее, быстрее! И громче бейтесь камни о железо, чтобы заглушить тупую тишину, чтобы сбить злость с души, чтобы... Ну, конечно же, я думал о том, что пора бы человеку раз и навсегда решить все свои национальные и другие «мелочные» задачи и навалиться всем миром на проблемы, куда более важные и достойные человека.

Примитивное мышление? Примитивное. Но когда я, окруженный черными трубами, трупами домов и каплями собственного пота бросал камни в самосвал Салавата, мне ни о чем больше не думалось. Может быть, в том повинен грубый физический труд, который склонен упрощать любые, даже очень сложные и путаные проблемы? Может быть.

«Крещение»

Время резво бросилось вперед. Каждое лето оно кидало меня то в одну, то в другую точку огромной страны. Я жил не легко, не трудно, — как все, и вдруг я снова стал... русским!

Случилось это в конце 1987 года поздним холодным вечером. Я шел с интеллигентным человеком и говорил о проблемах литературы, которая на радостях (ей почти все разрешили!) бросилась вспоминать, обвинять, уничтожать — догонять, забывая при этом свое главное назначение — творить душу человеческую. Разные у нас были взгляды на сложный вопрос и, тем не менее, мы понравились друг другу. Интересный собеседник вдруг остановился и очень доверительно и серьезно спросил:

— Скажи, а ты — русский?

— Да, — ответил я, всматриваясь в умные пристальные глаза.

— А как, говоришь, твоя фамилия?

— Торопцев.

— Говорцев?

— Нет, То-роп-цев, — повторил я по слогам и, еле сдерживая улыбку (чем-то он в этот миг был очень похож на рыжего семиклассника), пояснил. — Торопец, Торопа, есть...

— Знаю! — восхищенно рубанул рукой знаток русских фамилий. — Да, это настоящее, русское. Нам надо держаться вместе.

— Конечно, — я был польщен его предложением, но еще больше тем, что меня, наконец, приняли в русскую нацию.

«Ура, я — русский!» — пела душа моя, и как мне хотелось, чтобы мое «крещение» видел толстый рыжий семиклассник!

Подайте Христа ради

У входа в метро мы расстались с моим «Иоанном Крестителем», и я окунулся в тепло подземки, и побежали передо мной разные люди — люди усталые. Они возвращались с работы, везли детям торты, конфеты, иностранную колбасу, прочие вкусности, и я почувствовал голод.

* * *

Я уже целый месяц был один. И мне страшно хотелось жрать. Это нормальное для восемнадцатилетнего парня состояние подняло меня с кровати, усадило за стол. Но кроме истмата и матанализа на нем ничего не было. Кто-то постучал в дверь.

— Привет! — в комнату вошел Валерка, смуглый, круглолицый, с боксерским носом и с густой, завитушками, шевелюрой.

— Привет! — обрадовался я. — Сыграем?

Шахматы отвлекали от голода, шахматы — увлекали: у Валерки выиграть было непросто.

— Только ко мне пойдем, — бросил он беззаботно.

— Нет, здесь давай, — мне не хотелось много двигаться.

— Не могу. Ко мне должны прийти. Пойдем, — Валерка никогда не сдавал партию — только мат заставлял признать его поражение. Но матовать мне было нечем — в животе бурчала пустота.

— Ладно, пошли.

Валеркины родители недавно получили трехкомнатную квартиру. Мы расположились на диване, расставили шахматы и, голодный, я быстро разыграл какой-то отчаянный дебют... И выиграл!

— Мат!

А через несколько минут, не скрывая радости, повторил. — Мат! Два — ноль.

— Ребята, кушать идите! — позвала нас тетя Тоня.

— Ходи! — Валерка жаждал реванша, и я смело двинул пешку на е5, не замечая призывный гул в животе: «Жрать давай!»

— Я кому сказала! Идите есть — остынет!

— Да подожди ты!

— Сейчас шахматы разбросаю!

— Вечно ты не вовремя! Пошли, похаваем, не отстанет.

— Я не хочу, ты иди, — промычал я, но «голос» пустого живота звучал куда призывнее. Да и Валерка был тут как тут:

— Один я не пойду, я утром ел.

— Вы что, издеваетесь надо мной! А ну, марш на кухню!

Эх, какие варила она щи — если бы кто знал! Какая получалась у нее картошка с салом! Какой заваривала она чай в металлическом блестящем чайнике!

— Спасибо, тетя Тонь! — выдавил я, переведя дух.

— Кушай на здоровье! — ответила она, а на кухню вошел ее муж, дядя Боря.

Плотный, на вид сердитый, с большой залысиной, он строго осмотрел кухню, меня (Валерка улизнул обдумывать ход) и очень спокойно сказал:

— Ты вот что, Саша, ты приходи к нам. Капусту мы засолили, картошку выкопали — на зиму хватит. Приходи. Голод, он, знаешь, не тетка.

— Да, Саша, приходи, — попросила тетя Тоня. — Разносолов у нас нет, а что сами едим, то и тебе дадим.

— Ты понял нас? — дядя Боря, еврей, который десять лет отмывал на зоне чужие грехи, про которого жилпоселовские кумушки нашептывали всякую злую чушь, от которого отпугивали меня соседки, дядя Боря смотрел мне в глаза, и ждал, не уходил.

Я поднялся, гиревик хренов, на голову выше своих кормильцев, не способный себя прокормить, и сказал:

— Ладно, дядь Борь. Ладно, тетя Тонь, - и догадался главное сказать, - Спасибо.

— Сашка, твой ход! — крикнул Валерка, а мать его, татарка, разделившая с мужем горе и беды, счастье и радость, родившая ему троих детей (они все — мои друзья), отвернулась к раковине и сказала:

— Иди-иди.

И...

«Ура, я русский!» — пела моя душа в осенне-зимнем метро, но что-то фальшивое, тоскливое было в той мелодии.

Каким ты был...

И еще прошло много-много лет. И ничего не изменилось. Человек остался самим собой.

Ушли тетя Тоня и дядя Боря, ушло много других людей хороших, помогавших мне и никогда не спрашивавших, кто я есть и откуда я родом. Их заменили другие люди.

Я, к счастью, - человек метрополитена.

Здесь «живут» люди, слетевшиеся в Москву, чтобы обеспечивать грандиозные планы вечных реформаторов и обслуживать их на разных уровнях: от высокого чиновничьего до низшего уровня бомжей. Я вижу их мудрые лица, и питаюсь их терпеливой энергией, и радуюсь: человек - остался!

{comments on}